

Борис Васильев

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

ВСЕОБЩЕЕ ОТРИЦАНИЕ ЖИЗНИ

Россия — странная страна. Ее истоки следует искать не в писаной истории, не в легендах и даже не в мифах. Она — прямое порождение ледника, а потому согласно законам диалектики и гибель ее заключается в леднике. Тепло населяющих ее душ обязано заледенеть изнутри, уничтожив все. Ласку и приветливость, добродушие и сострадание, любовь и нежность.

Россия — дочь Отрицания жизни, родившая от ледника иное, выборочное Отрицание.

Эту предпосылку необходимо развернуть. А потому оглянемся и посмотрим далеко-далеко, в сизые льды, когда-то медленно и неторопливо отступавшие на север. А на отдаваемом им месте постепенно появлялись лишайники и мох, трава, плауны, ползучие плети хвощей, изредка выбрасывающих из своих узлов робкие столбики, похожие на крохотные елочки. На согретых ими местах робко начали появляться первые кустики, они накапливали корни, выбрасывали новые побеги, и упрямо росли. Росли вопреки всему. Бедной почве, ледяному прослою земли, студеным,

злым ветрам. Росли вопреки всему, и этот рост вопреки через много лет привел к господству кустарников.

Они заполнили собою все пространство, нехотя, с метелями и жгучими морозами уступаемое ледником. Лоза, мелкий осинник, ольха, крушина, волчьи ягоды, березняки, нескончаемые заросли малины и красной смородины, таволги, крыжовника, черемухи, багульника заняли все пространство свободных земель России, не давая никакой возможности прорасти деревьям. Они губили их семена во мхах и травах, они крали у них нежаркое солнце и высасывали все соки из тощей почвы. Это было их царство, за которое они боролись с остервенением, ничего нигде не уступая.

И когда могучие деревья все же вознесли свои кроны, научились прятать семена в шишках, разбрасывая их повсюду, кустарники продолжали борьбу. В конце концов тайга победила, выгнала их из-под своих непробиваемых солнцем крон, кусты по-прежнему продолжали свою тихую войну, захватывая всякое свободное пространство. Борьба эта продолжается и поныне, хотя деревья гордо возвышаются над ними где лесом, где рощей, а где и отдельными гордыми упрямями.

И поныне кусты упрямо лезут на нивы, пажити и даже в огороды. И люди были вынуждены

включиться в эту войну на стороне деревьев, беспощадно вырубая упрямые кусты.

Столбовые деревья и сегодня ведут свой нескончаемый бой с упорной кустарниковой ратью. И война эта бесконечна, ибо опирается на социальное Отрицание.

Ведь и в человеческой жизни кусты изо всех сил мешают деревьям, а деревья стойко продолжают борьбу. И только тогда, когда кустарник дозрел до мысли об объединении, получил численное преимущество, армии кустов смели с лица России ее последние тысячелетние дубы и вековые сосны.

Однако начнем разговор не с капризов природы, а с отрицания, как дела рук человеческих.

Итак...

ОТРИЦАНИЕ ВТОРОЕ ИЛИ ГУНЬКИНА КОЗА

1

Почему так называлась малоприметная возвышенность в чистом поле, никто уже и не помнил. Даже старожилы из ближайшей деревни Хлопово, в которой, правда, кроме старожиллов уже

никто и не проживал. А на самой возвышенности не было ни козы, ни Гуньки, а только хрен. Дремучие хреновые заросли, которых хватило бы на всю область. Правда, если бы было, с чем его есть.

Ну, представьте себе картину гнезда бывшей Великороссии, ныне за что-то прозванной Нечерноземьем. От селища до селища — выстрел из береговой батареи. Здесь укрупняли обедневшие вконец деревни, как утверждалось, того ради, чтобы запустить могучую сельскохозяйственную технику, а на самом — то деле, чтобы народишко подсобрать из разбежавшихся селений. Тут, почитай, каждый парень, на службу призванный, в родную избу уж и не возвращался, а девчонки, каждый год таким государственным раскладом без женихов оставаясь, на любую стройку завербовывались, лишь бы в старых девах не оказаться. Месили голыми ногами ледяной бетон на Великих Стройках Коммунизма, лопатами рыли каналы и котлованы, клали неподъемные шпалы без всяких подъемных кранов, добровольно записывались прокладывать метрополитен, пробивать в горах тоннели, поднимать целину, строить новые города в глухомани. Природа, она природа и есть, и никакой завтрашний социальный рай ей не требуется. Ей сегодняшней нужен, чтоб сама жизнь не прекращалась.

А вместо жизни получили пампасы из хрена.

Так и тащились тут со времен радостных гармошек при коллективизации. А чего гармонь через пузо не растянуть, когда соседа раскулачивают? Оно, конечно, самое полезное для хозяйства куда-то утекало, но и соседям перепало если не старая лошадь, так хоть старый хомут. Только вот старики на завалинках толковали, что и до коллективизации она уже была. Эта самая коллективизация. Только что называлась по другому, так разве ж в названии дело?...

— Порешил сход помещика-кровопийцу из дома выселить со всем семейством, а землю никакому не колхозу, а крестьянству по жеребию, — важно рассказывал седой до мертвой желтизны старик. — Ну и имущество, конечно дело, тоже по жеребию, как положено. Чтоб, значит, всем, а не одному крикуну-агитатору. Помню, в двадцать четвертом годе солдаты с войны вернулись, сход собрали да и порешил тот сход...

— Какой еще сход? — не понимая, а потому с унтер-пришибеевким раздражением перебил корявый, без руки, но весь в медалях очень заслуженный солдат.

— Сказали, мол, такая установка нынче, что, значит, всем всего поровну. Без всяких кровопивцев...

— Катись ты, дед, со своим сходом! И не сходишь вовсе, а мы, которые кровь проливали, порешили все то дело.

А неподалеку жили-были — тому уж добрых две сотни лет — мелкопоместные дворяне Вересковские. Земля чахлая да и немного ее, а в семье одних детей аж пять душ. Старший сын Александр на фронте с пятнадцатого, слава Богу, до командира батальона дослужился, орденов — поликоностаса да плюс — солдатский Георгий, особо почитаемый именно офицерами, так как давался по ходатайству роты за личную отвагу в рукопашном бою. За ним две дочери-погодки последовали — Таня и Наташа. Хорошие девочки, в губернском городе в гимназии учились. Таня с Золотой медалью закончила и без экзаменов в Московский университет поступила на Медицинский факультет. В связи с войной в него теперь и женщин принимали. Наташа из-за болезни на год опоздала, кончила только в Семнадцатом и мечтала о Консерватории. Еще — Павел. Ну, с ним сложнее дело обернулось, а последней Настенька родилась. Любимица, красавица, только что здоровьем тоже вроде бы слабовата, как считала мама Ольга Константиновна. Семья имела в губернском городе квартиру с прислугой, но старшие предпочитали жить в поместье, а в квартире проживали девочки, когда учились в

гимназии. За ними Антонина Кирилловна присматривала, ну, и горничные, естественно.

В старые-престарые времена Вересковским принадлежали две деревеньки, а села ни одного не было, так что и церковь-то чужой оказалась, подле которой они упокоившихся своих хоронили. Когда-то предок очень по этому случаю расстраивался, но последние хозяева в меру заразы атеистической нахватались. Во храм ходили по привычке — крестины да похороны, двенадцатые праздники да привычные свадьбы. И расстройство предка забылось, и в долги, по счастью, не залезли.

Старшие в поместье жили безвыездно. Хозяин, отставной генерал Николай Николаевич ученым был, что-то там писал историческое, а жена Ольга Константиновна за дворней присматривала. Был у них старый дворецкий, хозяина в детстве обихаживавший, повар, экономка, да две горничные. Еще кто-то мелькал, но это так. Приживалы, что ли. Или — долгие гости скорее. Вересковские хлебосольством на всю округу славились.

С соседями своими — то бишь, с бывшими крепостными — жили душа в душу. Парни каждое рождество в каждой деревне елку ставили, а девочки ее украшали вместе с местными ребятами и девчатами. И так это всем нравилось, что с елок тех ни разу ни одной игрушки

не пропало. Крестьянам это по душе было, мальчишек приструнивали, а парни тогда особо не озорничали, схода побаиваясь. Ведь рекрутский набор обществом решался по заведенной издревле привычке, тут было, от чего заботиться.

И вот в конце того же двадцать четвертого года, что ли, бывалые, колотые и стреляные, тертые-перетертые, газом травленные и казачьих сабель наостренность собственным телом постигшие, свою сходку собрали. Сказали, правда, что любой дед-прадед с правом спора на нее приглашаются, как и все прочие самостоятельные по всяким хворям не служилые мужики. Только бабам ход туда был заказан, потому как стосковались солдаты без бабьего слезного воя настолько, что уж и слушать его не захотели.

— Равенство нам обещают после дождичка в четверг! — проорал косматый солдат. — А наши подзолистые души не в четверг, а сегодня дождичка желают! Какой сегодня день, старики уважаемые?

— Четверг.

— Самое, стало быть, оно!

Рванули было с места да на рысь, только тот древний пожелтевший дед вовремя закричал тоненько:

— Ишь, куды ж?... Ружья наземь... клади!..

И вся рысь замерла. Положили солдаты ружья — аккуратно положили, как вот такими дедами

велено было — а потом пошли шагом. Тоже привычным — четыре версты в час. За ними чуть поодаль бабы шли, малышни орава да мужики не служилые. А парнишки постарше неспешно вели под уздцы нестроевых крестьянских лошадок с пустыми телегами. Это обратно кони должны были потрудиться, так как наступление всеобщего равенства предполагалось после доставки добычи.

Приехали. Нестроевые с парнишками остались, а бывалые, пороха понюхавшие вперед вышли.

— Эй, хозяйева!

Хозяйева на крыльце появились. Сам Николай Николаевич, сама Ольга Константиновна и — девочка Настасья, а остальных детей лихие дни раскидали, неизвестно куда. И она, это последняя девочка что-то радостно закричала, углядев в третьих рядах знакомых подружек, с которыми каждый год весело наряжала в деревнях елки.

Но толпа безмолствовала, что, как известно, ей свойственно в ситуациях озадачивающих.

— Грабить пришли? — помолчав, спросил Сам.

— Грабить — слово буржуйское, — хмуро сказал солдат с отсохшей рукой. — А наше слово — зекс... эксприация.

— Не понял, — сказал Сам.

Тут старик желтый, передних раздвинув, к крыльцу вышел и достал мятую бумагу, которую еще не успели раскурить в козых ножках. Развернул ее и зачитал, не читая:

— Постановление схода. Всего нашего общества, то есть. Все ваше личное имущество можете взять с собой, мы вам даже телегу дадим, только лошадок своих коников нам оставите, они вам больше без пользы. Потому тогда грабеж, когда личные вещи берут. А когда не трудом, а наследством это называется, нет на то согласия бедняцкой части.

— Да у меня предки во всех коленах за Россию кровь проливали, — хозяин даже в грудь кулаком тюкнул. — У меня старший сын Александр на фронте с пятнадцатого год, три ранения получил, четыре ордена имеет и солдатским Георгием награжден за личное мужество!

— Достоин, стало быть, — сказал старик. — Потому мы и не грабим, как некоторые. Мы по-людски. Полчаса на сборы хватит?...

Заплакали Ольга Константиновна и барышня, если, стало быть, по-старому считать. Но сам генерал Николай Николаевич Вересковский зыркнул глазом, и пошли они собираться.

А толпа стояла и молчала. Может, и копошилась в какой — ни то душе некоторое несогласие, но наружу не вылезало. Опыт уже был

— свое при своем храни, дольше проживешь. Потому-то и молчали все.

Вышли хозяева и все их горничные вместе со старым дворецким. И каждый — с чемоданом, и девочка с чемоданами, а Сам — аж с двумя баулами. Но тут взроптали сами солдатики: мол, чего прешь-то, хозяин? Может, золото какое?

— Золото, — сказал хозяин и открыл оба баула.

Подошли. Посмотрели.

— Бумажки какие-то...

— Работа это моя, — вздохнул хозяин, застегивая баулы. — Всей жизни работа... О русской армии.

Промолчали все с уважением. Даже не спросив: «Почему, мол, русской, а не Красной?»...

Еще живо было, видать, в их уже тронутых бессердечием душах уважение. Это потом с ним, с уважением то есть, расстанутся, потом, когда придет соответствующее распоряжение. А тогда еще такого распоряжения не было. Потому и никто в опустевший дом и не ринулся. Пока бывшие жильцы да телега с ними да пожитками их с глаз не скрылась.

Медленно, мучительно медленно расставался народ со всем этим духовным своим богатством. Это погода, потом все ускорили, когда церкви да монастыри громить распоряжение вышло. А заодно

и могилы раскапывать в поисках золотишка под бдительным надзором молодцов в кожаных куртках с маузером через плечо аж до колена.

Да и в пустой дом не навалом, не кто первый, тот и в дамках, вошли. А вполне степенно и даже, как бы мы сегодня сказали, словно на экскурсию. На стенах — картины в рамах, на полу — ковры, кровати все постелены, а в буфетах — их целых три оказалось — чего только нет! И все — чистое, все хрусталем отливает, серебром отсвечивает и красками — словами и не перескажешь. Бабы первыми не выдержали, разохались, но старик, которого сход выделил, сказал строго:

— Делить все — по честному.

А как так — по честному-то? А так. Ты, к примеру, спиной к буфету оборачиваешься, я во что-то тыкаю, а ты кричишь, кому достанется. Можешь, конечно, и «Мне!..» заорать, а вдруг не угадаешь, во что глазища завидующие уткнулись? Вот потому и орешь:

— Марье!

Ан Марье-то заветное и досталось. Очень от таких дележей сердца изнашиваются, очень. Считается, что к 37-му году совсем износились, ученые так говорят.

Вот так, в общем-то мирно и тихо, и шел дележ. Насте — поварешку, Федору — седло, Игнату — кресло, Прасковье — стул, ну, и так

далее. И все бы вполне мирно и закончилось бы, если бы бывалые да настырные солдаты в погреб не заглянули. Заглянули... Батюшки, все полки — в бутылках, все бочки — с вином!.. И это — при сухом-то законе!.. Так они оттуда и не вылезли, от запаху обалдев. Это сперва от разного запаху, а потом и от разного вкусу.

А наверху тем временем дележ шел.

Все разделили по справедливости, то есть с условием, когда за тебя кто-то выбирает. Так мы с седых времен ее, то есть, справедливость, и воспринимаем. И когда эта справедливая дележка была закончена, и все, что только оказалось в доме, было вытащено через окна и двери, тогда все и ушли, про солдат и не вспомнив. И очень довольные разошлись по домам. А дома приняли на грудь самогоночки по семейному любовному соглашению. И принявши по согласию, закусили, чем Бог послал, и завалились спать, устав от непривычного дня. И никто о солдатах так и не вспомнил, за исключением тех семей, откуда они происходили. Но и в тех семьях особо не кручинились, привыкнув, что русский солдат сам собою возникает и сам собою растворяется...

Только ночью полыхнуло вдруг в полнеба злым багровым заревом. Тут уж не до сна стало, тут проклятье библейское за злодейство, как попы с малолетства всем талдычили.

Повскакали тут. Заорали спросонок:

— Усадьба горит!..

Ну, тут все дружно поднялись, как извеку положено было. Кто с ведром, кто с багром. Только ветер тоже поднялся и погнал дым, искры да и само пламя точнехонько на деревню. Заметались все, кто избы тушит, кто скотину выводит, кто добро подальше от огня оттаскивает, кто ревмя ревет и зазря под ногами путается. А лето то, как на грех, сухим выдалось, и как ни кричали, как ни суетились, как ни плескали на огонь, сгорела та деревня дотла.

Тогда заорали:

— Пожог!.. Баре проклятые с полпути вернулись!..

— В Чеку!.. В Чеку заявить надобно! Пусть пожарщиков накажут прилюдно!.. На месте, сами глядеть желаем!..

Послали двух верховых. Часа через четыре вернулись они вместе с крепким милицейским отрядом и пожарной машиной с колоколом. Только тушить уж было нечего.

А в деревне вой стоит, детишки мечутся, скотина ревет. Тут и начальство местное пожаловало. Поглядело, вой послушало и велело завалы после тушения разбирать. Да не деревенские- там все дотла выгорело — а бывшего хозяина Вересковского. Разобрали, а там — два

сгоревших под завалами да два в усмерть упившихся в подвале. Тогда и Чека приехало, только ничего это Чека не нашло. А личности быстро установили: вояки деревенские. И причину пожара по обломкам рояля, который ни в какую дверь не пролезал, почему его и не тронули. А два пьяных воина — тронули. Рояль разломали да и жечь его начали. Может, поджарить чего хотели, кто ж их теперь поймет.

Погорельцам по решению области поселок построили по типичному образцу. В каждом бараке — по четыре квартиры и при каждой квартире — маленький палисадничек. И построили не на старом месте, а на выгоне. Ряд в ряд, как казармы. И назвали Вересковкой. То ли чтоб карты не переделывать, то ли в насмешку, кто уж теперь разберет.

Только вот хлебов в этой новой Вересковке никто не предусмотрел, Помаялись новоявленные вересковцы со скотинкой, повздыхали да и порезали. А что делать прикажете, когда из крестьянского сословия они напрочь выпали, а в рабочее сословие еще не впали.

Но власть решение приняло, и все трудоспособное население помаленьку начало обживать бывший уездный городишко. Там аккуратно кое-что строить начали, а тут — рабочая сила. И построили вскорости целых три предприятия. Завод

колючей проволоки, фабрику пошива шинелей да почему-то парашютный завод. Про запас, что ли?... Но местный автобус зато пустили, и все бывшие вересковцы, в одну огненную ночь превратившиеся в пролетариат, стали теперь ездить туда на работу. Точно к началу трудового дня.

Зато, правда, в колхоз не угодили, почему и имели на руках паспорта, которые колхозники получили только через семнадцать, что ли, лет. А им — повезло, почему они с красными флагами и просветленной душой радостно ходили на всякие демонстрации.

Вот какая история стала прологом интенсивной индустриализации данного энского района.

2

А теперь отъедем назад. В 1917-й год. Понимаю, что в жанре повествования это не очень-то принято, но нарушим традиции ради связного рассказа.

Роковой для России год этот застал штабс-капитана Александра Вересковского в военном госпитале губернского города Смоленска. Угодил он туда в июне, не упав вовремя от огня австрийского пулемета. Мог упасть, но заставил себя не делать этого. Вообще не любил при

солдатах осторожничать, но главное — уже фронты разваливались, уже солдаты в атаки бежали с неохотой, уже офицеры после отказа государя ни во что не верили. Кто — в победу русского оружия, кто — в восстановление монархии, а кто — вообще. Не верил вообще ни во что, безадресно не верил, потому что все ему в окопах надоело, и это представлялось Александру особенно зловещим предзнаменованием.

— Оставьте, господа, — говорил он в Офицерском Собрании. — Россия обречена на монархию несмотря на то, что иногда ее монарха зовут Борисом Годуновым. Ну, поорет Россия, постреляет, пожжет, пограбит, а потом все равно восславит очередного батюшку царя.

— Кого, капитан, кого? Михаил отказался от скипетра, цесаревич мал и безнадежно болен.

— Может, родственников из-за границы пригласить?

— Да нет, уж. Своего искать надо.

— Горластого социал-демократа.

— Керенского, что ли?

— Что вы, господа офицеры? Россия ненавидит интеллигенцию, так что скорее согласится на любое пролетарское происхождение.

— Ну, вас-то как раз солдатики любят.

— А я из воинов, а не лавочников. И тайком под одеялом офицерский паек не жру. Я его

слабосильным отдаю, как то предками было заведено, а сам ем из солдатского котла.

Смертельно уставший на долгой, грязной, бессмысленной войне никого любить не может, потому что для любви нужны силы, а их уже нет, исчерпались они ковшом кровавым. Александр об этом знал, не обманывался, но — верил в своих солдат и берег, как мог. Как предки завещали. И потому-то перед пулеметом не упал: командирский пример на солдат действует, как неизбежность. И они не испугались, а наоборот, в ярость пришли. И пулеметчика гранатами забросали, и в окоп ворвались, закрепились, и санитарам время дали, чтобы командира вытащить.

За этот бой он получил последний орден. Но не последнюю награду, о чем, естественно, еще не догадывался.

Из госпиталя его выписали в конце сентября, но не на фронт, а в офицерский резерв, обязав раз в неделю ходить на перевязки и осмотр. Не он один на эти процедуры ходил, зато первым отметил процедурную сестру милосердия. Так их исстари на Руси называли, но когда милосердие себя до доньшка исчерпало стали именовать сестрами медицинскими. Чтобы еще с какими-нибудь сестрами не спутали, что ли.

Назвать сестру милосердия красивой или даже хорошенькой было бы затруднительно. И скулы

чуть выше положенного залезли, и носик подкачал, и фигурка не статуэтка, как говорится. И все же в ней что-то было. Что-то необыкновенное, прочное что-то. Вглядеться следовало, и Александр вгляделся не окопным истосковавшимся взором, когда все женщины становятся прелестными, а отдохнувшим, что ли. Или ухом, уже достаточно привыкшим к шуршанию юбок за время постельного режима.

Словом, звали ее Аничкой, и это Александру понравилось. Что так по-домашнему зовут: не Анечка, а Аничка.

— А меня — Александром.

— Вы — господин капитан, — Аничка мило улыбнулась.

И он улыбнулся.

— Вы — местная?

— Смолянка.

— А я никогда в Смоленске не был. Госпитали чёрт-те где, извините. То есть, на Покровской горе.

— Весь Смоленск — на юге. За Днепром. Там — крепость и очень красивый центр самого города.

— Если бы вы согласились быть моим гидом.

— С удовольствием. Послезавтра, если вам удобно.

— Благодарю, мадемуазель Аничка.

— Подцепил? — усмехнулся сосед по комнате. — Она, между прочим, дочка патологоанатома.

— Я не суеверный, поручик.

Через день он нанял коляску и заехал за Аничкой в условленное место. День был солнечным и задумчиво тихим — не вздрагивали даже начавшие наливаться бронзовым цветом листья кленов. И яблок еще не собрали, и торчали те яблоки через заборы нестерпимо сочными боками, и оскомины не вызывали.

— Смотрите, какие яблоки искусительные, — сказал штабс-капитан. — Вам бы мне хоть одно протянуть, Ева.

Ева, то бишь, Анечка промолчала.

Спустились вниз, к Рыночной площади, где привычно шумели вокзалы, пересекли Днепр и через пролом в крепостной стене въехали на Большую Благовещенскую...

— Влево уходит улица на Рачевку, — поясняла Анечка. — Там теперь лесосплав, плоты сплавивают и буксиром тащат до Рославля. А когда-то там протекала река Смядынь, на которой изменник повар зарезал несчастного князя Глеба.

Возле огромного собора толпились прихожане, нищие, беженцы, бродяги. А дальше улица круто взяла вверх, лошадь перешла на шаг, и ее шустро обогнал маленький звонкий трамвай.

— В нашем городе был пущен первый электрический трамвай, — не без гордости объявила Анечка. — Зимой обычная конка не могла подниматься по этой крутизне. Лошади падали.

— А почему трамваи вниз скатываются пустыми?

— Дешевле, — улыбнулась Анечка. — Горожан до Днепра и ноги донесут. Левее Большой Благовещенской идет параллельная улица, которая называется Резницкой. Папа говорит, что ее прозвали так потому, что по ней текли реки крови, когда поляки ворвались в город, который оборонял боярин Шеин. А это — женская гимназия, в которой я училась...

Анечка смущалась, и поэтому болтала без умолку. А Александр поймал себя на том, что старательно запоминает все улицы и переулки, о которых она рассказывает. Почему? Инстинкт боевого офицера, что эти знания когда-то понадобятся ему?... А ведь — понадобились...

— ... А это — центр Смоленска: видите часы? Это знаменитые часы, от них отмеряют все расстояния, а под ними назначают свидания. Направо уходит Кадетская, улица вечерних прогулок с дамами и тросточками. Но мы сначала поедем прямо. К Молоховским воротам.

Проехали к узким, сводчатым и мрачноватым Молоховским воротам, которые упорно не

сдавались Наполеоновским войскам, полюбовались на памятник 1812 года, где орлица, охраняя гнездо, цепко держит руку галла с мечом. Проехали вдоль крепостной стены и южных башен до плаца для парадов по праздничным дням под сеньюobelиска в честь защитников Смоленска велели кучеру ждать и прошли в Лопатинский сад.

— Его заложил губернатор Лопатин, почетный гражданин города. А его дети расписались на развалинах второго крепостного вала, позже превращенного в застенок. Хотите посмотреть?

Перешли по красиво изогнутому над протокой меж прудами деревянному мостику и очутились в проломе старинного крепостного вала, заросшего поверху деревьями. Входы в его таинственные подземелья были закрыты тяжелыми коваными решетками.

— Это была страшная подземная тюрьма, — сказала Аничка почему-то приглушенным голосом. — Здесь сидел Кочубей со своим верным Искрой в ожидании казни.

Александр с уважением подергал решетку.

— А теперь посмотрите, что выбито перед нею.

— Ка-бо-грал-ло. Что это значит?

— Это значит «Капитолина, Борис, Григорий, Александр Лопатины». Дети губернатора Лопатина. Остались на века.

— На века останется только Смоленск, — сказал Александр. — Древнейший город собственно России. Насколько мне известно, он упомянут в византийских хрониках еще шестого века. Извечный страж Москвы, как его когда-то называли наши предки.

— И не случайно, — сказала Анечка. — Идемте, господин капитан. Я покажу вам документ, подтверждающий это гордое название.

Они пересекли Лопатинский сад и остановились на внешнем валу, к которому с обеих сторон примыкала крепостная стена. На левой стене красовалась памятная табличка:

«СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ ВЫДЕРЖАЛА ПЯТЬ ОСАД».

Александр одернул мундир, вытянулся во фронт и вскинул руку к фуражке. И застыл, отдавая честь безымянным защитникам Руси. Потом почему-то смутился, спросил:

— Гордитесь своим городом?

— Самый лучший в мире!

— И внуков научите гордиться, — улыбнулся Александр.

— И правнуков, если Бог пошлет.

Александр с непонятным самому почтением поцеловал ее руку.

— Прошу отобедать со мной в ресторации. Пожалуйста, не откажите раненому офицеру.

— С удовольствием. Я проголодалась

— Случайно не знаете, где можно достать хорошие вина? Я понимаю, сухой закон...

— Случайно знаю, — Анечка улыбнулась. — Недалеко от Днепра, на Энгельгардтовской.

Они вкусно пообедали с отличным рейнским вином, после чего Александр доставил Анечку домой. Прощаясь, она сказала:

— Следующий обед — у нас, господин капитан.

— Благодарю, — он поцеловал ее руку. — Буду жить этой надеждой, мадемуазель.

— Ну и какова же она в постели? — спросил сосед, когда капитан вернулся в офицерский резерв.

— Две извилины в военное время — редкое достояние для офицера. Либо — «за», либо «против». Удобство для времен по-русски смутных и по-русски непредсказуемых.

— Смеетесь, капитан? — спросил, помолчав, поручик.

— Никоим образом, поскольку у меня — всего одна. Да не извилина, а — ров, через который не переберешься. Слева — физиологические желания, а справа — фамильная честь.

3

Через неделю после ознакомления штабс-капитана Вересковского с достопримечательностями губернского города Смоленска владелец Вересковки генерал — майор в отставке Николай Николаевич Вересковский отмечал свое пятидесятилетие. Он терпеть не мог никаких праздников, а уж тем паче, искусственных, потому что они отрывали его от любимой работы. Николай Николаевич был крупнейшим специалистом по истории русской армии и единственным знатоком дворянского корпуса России. Однако профессорского звания не имел, потому что предпочитал не учить избранных, а растолковывать всем читающим героическую историю России в научных трудах и популярных книжках. И ничего не желал кроме трудов и покоя среди карт и схем, книг и рукописей, но пришла супруга Ольга Константиновна, нарушив привычный покой.

— Извини, друг мой, но я — с просьбой и надеждой.

— У надежды более трепетные крылышки, — улыбнулся генерал. — Так что начнем с нее.

— Изволь, друг мой. Я очень надеюсь, что ты не откажешь мне в личной просьбе.

— Полагаю, она в моих силах?

— Вполне. Устроим бал по поводу твоего юбилея.

— Какого юбилея? — Николай Николаевич слегка опешил.

— Увы, через два года тебе исполнится пятьдесят лет.

— Вот тогда и отметим. Раньше времени неприлично.

— Не будь суеверным букой. Тебе это не идет.

— Ох, — он недовольно поморщился. — И дата некруглая, и время неподходящее.

— Неподходящее, — тотчас же согласилась Ольга Константиновна. — Особенно для наших девочек.

— Что ты имеешь ввиду?

— Войну, мой друг.

— Войну... — генерал вздохнул, и вдруг оживился. — Знаешь, какая парадоксальная мысль меня неожиданно посетила, Оленька? В войну убивают тела, но не души, которым достается благодарная память потомков. А во времена

террора гибнут прежде всего души. Террор убивает души людские!

— Нашим девочкам нужны романтические влюбленности, Коля, — озабоченно сказала Ольга Константиновна, проигнорировав научный восторг супруга. — И мы с тобой откроем этот бал вальсом, как в доброе старое время. Интересно, но все старые времена в России всегда почему-то считаются добрыми.

Балу предшествовал легкий банкет, поскольку генерал выговорил себе право на рюмку-другую доброго коньяка. Он чтит законы, но полагал, что они касаются водки, которую поэтому и не держал в доме. А, как известно, вторым Указом после объявления состояния войны с Германией бы Указ и «Сухом законе», который Николай Николаевич и относил к потреблению водки и всяческих настоек, поскольку всегда пил только вино. Или очень хороший коньяк.

На банкете именинник произнес тост.

— Дамы и господа! Я горжусь тем обстоятельством, что на моем празднике присутствует столько молодежи. Ей принадлежит завтрашний день, а нам — увы, мы уже сделали, что могли. Так каким же он будет для них, этот завтрашний день? Время определяет не столько бой часов, сколько бои нашего Отечества. Мы — вечные пограничники меж Европой и Азией, меж

Христианством и Исламом, меж кочевниками и землепашцами. А потому сила нашей Отчизны не в торговле, не в мореходстве, не в пшеничных закромах и тысячных гуртах скота, а в армии ее. А мощь армии — в ее дворянском офицерском корпусе, в исторически сложившейся военной касте России. Ныне эта мощь исчезает на наших глазах. И не только потому, что дворян-офицеров заменили скороспелые прапорщики из конторщиков, но и потому, что немецкая пропаганда разлагает нашу армию. Немецкие кабинетные идеи легко усваиваются конторщиками, но им не по силам управлять Россией с учетом ее особой, пограничной роли. Нельзя забывать, что мы — вечные пограничники. Если когда-нибудь забудем, все кончится небывалым в мире террором.

Генералу похлопали с тем особым старанием, которым каждый прикрывает свое полное непонимание. Николай Николаевич это почувствовал, но не расстроился. Он полагал, что исполнил свой долг, предупредив легкомысленную юность, каково будет тяжеломыслие их возможных завтрашних вождей, и как они, эти вожди, станут его компенсировать. Он сказал то, что обязан был сказать, хотя, признаемся, почему-то испытывал некоторое внутреннее неуютство.

Но оно рассеялось, как только Павел восторженно начал читать стихи. Он любил Блока

не только, как поэта, но и как соседа по имению, у которого бывал в гостях. За ним следом сестры — погодки в четыре руки исполнили «Времена года», и тоже не просто потому, что любили Чайковского, но и сам великий Чайковский жил совсем недалеко, в Клину, и это делало сестер Вересковских как бы причастными к его трудам.

А потом начался бал, который открыли Николай Николаевич и Ольга Константиновна вальсом, Пройдя круг со старомодным изяществом, они поклонились присутствующим и заняли кресла зрителей.

— Друг мой, извини, но ты забыл представить наших девочек, — с тихим огорчением сказала Ольга Константиновна.

— Кого?...

— Но мы же затеяли этот бал ради...

— Да, да, я запомнил. Важнее было предупредить их.

— О чем предупредить?

— О том, что никакого счастья у них не будет.

— Не будет?...

— Не будет. Не надо обманываться.

Супруги помолчали. Потом Ольга Константиновна огорченно вздохнула и тихо сказала:

— А они все равно познакомились. Танечка с юным Майковым, он в университете учится. Наш

сосед, внучатый племянник поэта. Очень милый юноша. Наташа — с прапорщиком Владимиром Николаевым, он в отпуске по ранению. А Настенька...

— Ни с кем.

— Молода еще, но прошла два круга с Павликом. Он — добрый мальчик, — Ольга Константиновна помолчала. — Зачем ты пугал их?

— Незнание — почва для ужаса. А ужас парализует.

— Странно слышать это от военного историка. Как будто наша армия впервые терпит поражения.

— Меня страшит не разгром армии, а кабинетные немецкие идеи о всеобщем благе, легко усвояемые вчерашними конторщиками, не говоря уж о безграмотных солдатах, друг мой. Им с детства рассказывали сказки о Беловодьи, и это навсегда осталось в их душах.

— Что-то я не знаю такой сказки.

— Тебе читали другие сказки. Братьев Гримм, Перро, Андерсена. А им — о благодатном крае, где нет помещиков, а земля рождает сама собой. Только бросай семена да — опять на печь.

— Все сказки хороши, друг мой.

— Кроме социальных о всеобщем равенстве, потому что существует только равенство безделья, а равенства труда в мире не существует и

существовать не может. Так вот, вся марксистская доктрина построена на этой самой русской легенде о Беловодьи.

Многое, очень многое знал кабинетный генерал, блестящий знаток как истории русской армии, так и, в особенности, ее дворянского офицерского корпуса. Но и в страшном сне не мог предугадать, каким эхом отзовутся его слова в самом недалеком будущем.

Может быть, его жена что-то предчувствовала утонченной тысячелетиями женской интуицией? И поэтому сказала:

— И все же не надо страшить детей, друг мой.

4

Но дети жили своей жизнью, и не подозревая, что их может устроить что бы то ни было. Уж так они все устроены, эти дети, что их завораживают сказки, когда они маленькие, а жизнь — как только они начинают ощущать, что она струится именно по их жилам. Тогда девочкам снится любовь, а мальчикам — героические подвиги, чтобы ее заслужить.

Только старшей, Танечке, ничего подобного не снилось, потому что она знала, кем будет. Она закончит Медицинский институт, будет лечить детей и в строгом соответствии с медицинскими

показателями подбирать себе мужа. Чтобы ее дети росли здоровыми, умными и счастливыми. Танечка была самой целеустремленной в их семье. Эта черта начала прорастать в ней еще в детстве и весьма почему-то настораживала отца.

— Для нее цель важнее средств.

— Господь с тобой, — пугалась Ольга Константиновна. — Просто девочка пытается найти рациональную дорогу к женскому счастью, с девочками это случается сплошь да рядом. Это — мечты. А влюбится, даст Бог, и все встанет на свои места в ее душе.

— Она не умеет грезить.

— Ну уж этому свойству девочки обучаются со сказочной быстротой. Дай ей Бог влюбиться, и все войдет в норму.

Вот тут мамина тысячелетняя память предков, которая почему-то упорно именуется интуицией, знание дочери и основательный житейский опыт вдруг расписались в своей полной беспомощности. Дочь не только не отвергла молодого Майкова, но, наоборот, обратила на него внимание, какого доселе никто не удостоивался. Она охотно и не без удовольствия танцевала с ним, мило улыбалась, мило болтала и — изучала. Неспешно и очень дотошно.

Несколько сутуловат, но дворянской стати не растерял. Ловок и грациозен в танцах. Бесспорно

умен, и, что хорошо, этого не афиширует. Легко поддерживает светские беседы ни о чем. О политике говорить не любит, что тоже неплохо. Судя по рукам, достаточно силен, а по дыханию — отменно здоров. Тогда почему же его не взяли в армию?... Щурится. Следовательно, близорук, но застенчив. Застенчив. Значит, не уверен то ли в себе, то ли в своей неотразимости. Или — воле, что еще лучше...

Фигуры кружились в вальсе, чинно и грациозно раскланивались в полонезе, сходились и расходились в контрдансе, рисуя узорчатую вязь на сверкающем дубовом паркете. А Танечка, мило улыбаясь, неторопливо и тщательно вела записи в досье на господина Сергея Майкова.

Наташа танцевала не только телом, но и всею душой своей. Она любила танцы, веселые разговоры и сонную, еще не проснувшуюся, еще потягивающуюся природу на утренней заре.

И в этот день, как, впрочем, почти всегда, встала раньше всех. Вышла в сад через веранду, которая не закрывалась даже в морозы, вздохнула полной грудью густой, за ночь накопившийся аромат, пропитанный цветочной росой, и вдруг радостно подумала, что живет в России.

— «Какие же мы счастливые! Ну, что там, в жарких странах? Сухой период, дождливый период. А у нас зимою — сон природы, ее отдохновение. И

в снежные бури Мороз-воевода дозором обходит владенья свои. А весной все начинает просыпаться, потягиваться, сквозь снег пробиваются подснежники, мать-и-мачеха, и за ними начинается все расцветать, как в раю. А воздух, настоящий на цветах, хочется пить и пить, вливать в себя и чувствовать, как бурно расцветают твои собственные силы, как тебе вдруг хочется петь и танцевать.

А какой карнавал устраивает весна перед тем, как уступить дорогу лету и уйти! Уйти навсегда, совсем уйти, потому что через год придет уже другая Весна, другая девушка. И она, зная это, изукрашивает цветами все деревья и кустарники, разворачивает свежие липкие, трогательно нежные листочки, добавляет ярких красок даже в хмурые ельники. Нет, ни Париж, ни Рим, ни Венеция, ни даже Бразилия не выдвигали ничего подобного и не увидят никогда. Это — одновременно и похороны Весны, и торжество вечной жизни. Это вакхическое торжество жизни над смертью, и я даю себе слово, что меня похоронят именно так. Я непременно потребую этого торжества в завещании и заставлю нотариуса его заверить всеми печатями».

Но сейчас Наташа отдавалась танцам всей душой, не забывая мило улыбаться раненому офицеру. Только вот мысли ее были далеки и от танца, и даже от кавалера. Она азартно

придумывала все новые и новые подробности ритуала собственных похорон.

Господи, чего только не взбредет в девичью голову в безмятежных шестнадцать лет!..

Было, было время, когда все молодые были счастливы, хотя сегодня вы можете мне и не поверить. И вы будете правы, и я останусь при своем мнении. Счастье — производное не только возраста человека, но и возраста собственной страны. Когда она еще злой, обовшивевший, потерянный и вечно голодный ребенок, она мстит. А месть одинаково лишает счастья обе стороны. И ту, которой мстят, и ту, которая мстит. И обе стороны не понимают, за что же им такая мука. А Россия вплоть до Семнадцатого года еще сохраняла веру в безусловной греховности мести, как формы существования.

А во всей большой семье Вересковских самым счастливым был Павлик. Меж поместьем и деревней никогда не было глухого забора, предупреждающей о частном владении просеки или хотя бы устного запрета. Вместо них существовали сложившиеся обычаи, которые не нарушала ни одна из сторон. В поместье можно было придти только по делу, в деревню — на праздники. На Пасху, Рождество, святки и тому подобное. И взрослые и, в особенности, дети Вересковских по иному поводу

обычно в деревне не появлялись. Никто — кроме Павлика.

В нарушение всех исторически сложившихся традиций Павлик не только ходил в деревню каждый день, но и приглашал с собою своих деревенских приятелей, которыми весьма быстро обзавелся. Отец смотрел на это сквозь пальцы, но Ольге Константиновне подобное поведение решительно не нравилось. Она пыталась объяснить сыну, что это не просто не принято, но и неприлично. А уж водить в сад ватагу босоногих мальчишек — извините. Это, как говорится, ни в какие ворота не лезет.

— А что, мне с девчонками в индейцев играть?

— Друг мой, вразуми нашего сына, — умаявшись уговаривать Павлика, Ольга Константиновна обратилась к супругу.

— Вразумлю, — кратко ответил Николай Николаевич.

И купил сыну монтекристо, патронташ и целый ящик патронов.

В лесу за забором началась веселая пальба, которая мешала работать. И Александр оборудовал тир непосредственно в саду. Там были расставлены мишени, фанерные фигурки зверей, и мальчишки лупили теперь по ним, вместо того, чтобы пытаться нанести урон местной фауне.

И только Павлик по-прежнему упорно стрелял птиц. Всех подряд. Ворон и сорок, синиц и соловьев. Что летало или пело, в то и стрелял. И — радовался, что метко стреляет.

Павлик не бросил своих деревенских друзей и тогда, когда поступил в гимназию. Приезжая домой на каникулы, при первой же возможности разыскивал их, в тире начиналась стрельба, а в лесу — охота на пернатых. Но тут пришла война с немцами, во всеуслышание объявленная Второй Отечественной, и в стрельбе появился определенный смысл.

— Я буду готовить из них снайперов.

— Молодец, — сказал Александр, приехавший повидаться с родными перед отправкой на фронт. — Так держать!

За войной последовала революция, но Павлик упорно продолжал готовить своих снайперов и не оставил этого занятия даже после Октябрьского переворота. Теперь, правда, неизвестно, для какой из воюющих армий предназначались эти гипотетические снайпера

Татьяна в августе поехала в Москву поступать в Университет. По пути — в губернском городе у нее была пересадка на московский поезд — зашла в гимназию, поблагодарила учителей, попрощалась с ними и, нагруженная советами и пожеланиями,

отбыла во вторую столицу. Писала аккуратно, но редко и очень уж коротко.

Никаких распоряжений о гимназиях пока не поступало, но ходили упорные слухи, что большевики введут всеобщее образование, закрыв гимназии и реальные училища, равно как и коммерческие вместе с кадетскими. Говорили, что преимущества получают дети рабочих и сельских бедняков, которые не будут сдавать никаких экзаменов вообще. И что хорошо бы обзавестись справкой о том, сколько классов гимназии закончил учащийся из среды лишенцев. Павлика тут же снарядили в город, указали, чтобы остановился на квартире, получил бы справку в гимназии и немедленно отправился бы домой. В родное имение Вересковку.

Павел тут же выехал и... И пропал. Для очень многих — навсегда.

Выпал в отрицание.

5

— Всякая революция есть отрицание живого организма нации, сложившегося тысячелетиями. Его судьба прерывается, накопленные традиции, обычаи, привычки да и вся естественно создавшаяся мораль общества разрушается,

погружаясь в муть и тину далекого прошлого, откатываясь в детство свое...

Патологоанатом госпиталей Смоленска Платон Несторович Голубков — крупный мужчина с мощными плечами и устрашающе огромными ручищами — очень любил пофилософствовать. Общаясь с двумя одичавшими помощниками да бесконечным потоком трупов в мертвецкой, он отдыхал в возвышенных разговорах с друзьями и гостями.

— Возникает иная цепочка развития, поскольку в полном согласии с диалектикой. всякое отрицание рождает свое отрицание. Отрицание отрицания — не только непреложный закон диалектики, но и закон, предупреждающий общество о зловещем постоянстве бесконечного отрицания.

Александр с большим вниманием слушал известного в Смоленске профессора. Не с приторно вежливым молчанием гостя, а с искренним интересом. Он повидал то, в чем ежедневно копался патологоанатом Голубков. Он до сей поры не мог отмыться от липкого запаха смерти, ему и до сей поры виделись горы окровавленных трупов с оторванными конечностями, разможженными черепами и сизыми внутренностями, вывалившимися из разорванных животов. Еще живые, дышащие, доживающие свою жизнь